

Виктор Кустов

Заглянуть в завтра

Барышня избалованная

Так она сама определяет свой статус — барышня избалованная... Я думаю, что это просто её мечта.

Она — ровесница новой России. Аккурат в августовский день 1991 года, когда Ельцин, взобравшись на танк, призывал противостоять прошлому, она и родилась. Прокричала в испуге, как делают все новорождённые, приходя в этот мир, и прильнула к материнской груди.

Потом счастливая мама и счастливый папа много дней и ночей кружились вокруг неё, не очень-то вникая в то, что происходит за пределами их маленького уютного мирка, хотя происходило там много всего разного.

Она уже своё отползала, сложила звуки в первые слова, стала вполне смышлёным ребёнком, когда в доме появилась сестричка.

Они все четверо жили всё в той же маленькой комнатке, всё так же экономя на всём, и мама радовалась, что родилась ещё одна дочь и сестра, а не мальчик — значит, не нужно будет покупать одежду: есть кому доншивать то, что не сносила старшая. Что касается папы, то он последнее время не очень был доволен тем, что происходило за пределами их дома, стал часто куда-то надолго пропадать, и однажды мама сказала, что он больше не придёт, потому что его забрала к себе другая тётя.

Ей было уже пять лет, и она уже кое-что понимала во взрослой жизни: в песочнице с ней играло немало сверстников, у которых какие-то тётки тоже забрали пап.

Много позже она разобралась, как это происходит, когда её мама привела домой чьего-то папу. Но с ним она прожила не очень долго. Он ей не нравился, он считал её совсем маленькой, а она уже ходила в четвёртый класс. Она становилась всё непослушнее и непослушнее и, наконец, стала жить у бабушки.

Бабушка жила в городе, а мама с чужим папой переехали в пригород, где у него была работа.

Ей было хорошо жить у бабушки с дедушкой. Бабушка помогала делать уроки. Правда, недолго, потому что уже в шестом классе они поменялись ролями: бабушка отстала от жизни, ничего не понимала в сотовых телефонах, верила рекламе,

боялась интернета и новостей, которые её огорчали. Дедушка тоже не любил новости, и когда они становились особенно неприятными, уходил в гараж, в котором давно уже стояла на приколе его старенькая машина с оленем на капоте. В ней всегда было что-то неисправно, поэтому бабушкины просьбы куда-нибудь их свозить или просто покатасть заканчивались, как правило, вызовом такси.

В восьмом классе она поняла, что дедушка просто боится ездить на машине по забитым транспортом улицам.

В восьмом классе она первый раз влюбилась.

Он учился в другой школе в одиннадцатом классе и гулял с ровесницей, живущей в одном подъезде с ней, — длинной, худой и некрасивой. Правда, он тоже не был красавцем: сутуловатый, длиннорукий, с тонкой шеей и девчоночьими кудряшками. Но когда они целовались, не обращая внимания на неё с подругами, она хотела сделать ей, а иногда и ему, что-нибудь плохое.

У мамы давно уже родился мальчик, сестра с отчимом жила дружно: они забыли о ней, она о них вспоминала редко.

После девятого класса хотела пойти в колледж, и тогда мама с сестрой приезжали на семейный совет и поддержали дедушку и бабушку, что колледж — это то же самое профессионально-техническое училище, в которое в советские времена шли бездари и неучи, а у неё всё-таки совсем нет троек, да и будущую профессию она ещё не выбрала.

Ну, решили так решили.

Ей было всё равно, тем более что жизнь у неё теперь была наполнена: у неё появился парень. А точнее, она разглядела своего соседа по парте...

После одиннадцатого класса набранный балл не позволил ей поступить туда, куда она хотела. Да и не только балл: бабушка и дедушка уже жили на пенсию, сводя концы с концами, машину продали за бесценок, за гараж, правда, дали что просили, но этих денег едва хватило бы на один год её жизни в столице. А маме и отчиму без неё надо было двоих поднимать...

И она выбрала институт иностранных языков, находившийся в их городе.

Учиться в институте было необременительно. Плохо только, что парней — раз-два и обчёлся.

На самого захудалого — дюжина желающих. В кафешках, куда она с подругами заходила посидеть за чашечкой кофе в надежде на неожиданное знакомство, мужчин тоже было мало, и, как правило, все заняты.

Русик зацепил её возле остановки, проезжал мимо.

Русик был кавказец.

Вообще, она нравилась горцам: в меру сдобная, светловолосая, с искрящимися глазами и голосом, который весело переливался.

Тогда она отшила этого наглого парня: ей хотелось, чтобы за ней долго и красиво ухаживали. Как, к примеру, её преподаватели, по возрасту почти дедушка ей, но, как говорили подруги, запавший на неё серьёзно. Он не позволял себе ни фамильярности, ни грубости, не использовал её зависимость от него. Впрочем, она училась неплохо, и придраться к ней было трудно. Он называл её своей любимой ученицей, пророчил большое будущее, познакомил с женой — моложавой и спокойной женщиной (которая понравилась ей больше, чем он), часто водил в кафе, говоря, что в неофициальной обстановке ему легче передавать ей своё понимание не только науки, но и жизни. Но она догадывалась, что он просто подкармливал её, зная, что стипендии хватает лишь на несколько чашек кофе, а иных источников дохода у неё нет.

Она всё ждала, и боялась, и не могла себе ответить на вопрос: как поступит, когда он попытается её изнасиловать? Иного слова она не могла подобрать, потому что была ещё девушкой и ждала своего принца. Но он всё не осмеливался и не осмеливался это сделать, и, наконец, она взяла инициативу в свои руки, стала называть его папенькой, потому что своего родного отца за это время уже совсем забыла, чмокать в щёку, а иногда и в губы при встречах и расставаниях. И в конце концов он был вынужден играть эту роль по всем правилам, чем даже снискал со стороны коллег, которые находили прежде их отношения аморальными, уважение.

Надо сказать, что несколько раз она увлеклась, но ненадолго, её избранники скоро оказывались либо ограниченными, либо грубыми, спешащими уложить её в постель. Быть девочкой в её возрасте считалось уже неприличным, вроде как никому не нужной уродиной, и она всё чаще стала подумывать, что, наверно, надо всё же себя переломить, как делают её подруги, и лечь в постель хоть с мало-мальски понравившимся парнем. Или лучше даже с мужчиной постарше, солидным и надёжным. Но такие отчего-то не встречались. А встретился однажды на центральном проспекте Русик. Оказывается, она не забыла его, а он её.

На этот раз он повёл себя вполне прилично, сказал, что с той первой встречи не смог её забыть, и извинился за своё поведение тогда, сославшись

на то, что сейчас мало девушек, достойных уважения, привык так знакомиться, но вот она...

Потом он повёл её в ресторан, там они за вкусной едой много говорили, ища точки соприкосновения, и оказалось, что их вкусы во многом совпадают.

Русик уже закончил институт или, может быть, университет, но о своей профессии он ничего не сказал, пояснив, что диплом ему нужен был лишь постольку-поскольку: они с отцом и братом занимаются торговлей, у них пара магазинов в одной из республик, а в его обязанности входит организация поставок, вот почему он часто бывает в этом городе.

Он проводил её домой, выразив желание, как и положено в его семье, познакомиться если не с родителями, то с бабушкой и дедушкой. Но она сказала, что это он сделает как-нибудь в другой раз, потому что, хотя он ей и приятен, они ещё не друзья, а просто знакомые, которые хорошо провели этот день и вечер.

Она не думала, что будет скучать по нему, но уже на следующий день не выдержала, поделилась с подругами, как интересно провела время с образованным и галантным горцем, который раскатывает на дорогом собственном авто, не пьёт и не курит...

«Ну, — торопили её, — как он в постели?..»

Она почувствовала, что начинает краснеть, и неожиданно для самой себя выпалила, что лучше не бывает...

В какой-то мере это была правда, потому что ни с одним мужчиной она в постели никогда не лежала и даже не могла представить себя лежащей рядом со своим одноклассником или с педагогом. Но вот с Русиком она могла представить. И, представив, почти поверила, что так всё и было: гостиница, уютный номер, шампанское, цветы, шоколад и сильный и нежный мужчина, который почувствовал её тонкую романтическую натуру и сделал всё так хорошо и приятно...

Когда это случилось в не очень шикарном, но всё-таки приличном гостиничном номере, и были красные розы, всякие вкусности и вино, которое она попросила для себя, но выпила всего чуть-чуть, снимая напряжение и страх, вдруг охвативший её, Русик действительно был очень внимателен и ласков, его тело хорошо пахло, и она потом не пожалела о произошедшем, потому что случилось почти всё так, как она и представляла.

Он сказал, что будет любить её до самой смерти и им нужно поехать сначала к её бабушке и маме, а затем он отвезёт её к своим родителям и родственникам, потому что у них принято, чтобы радостная новость сообщалась всем.

Но на следующий день ему нужно было срочно уехать по своим делам, потом у неё началась зачётная сессия, затем он улетел в столицу, а когда

вернулся, прошло больше месяца, и она уже не сомневалась, что беременна. Она сказала об этом Русику сразу, как только он бросился её обнимать, веря, что он воспримет известие так, как она ожидает, и он действительно отнёсся с пониманием и сдержанностью настоящего мужчины, только заметил, что нужно, чтобы обязательно у него был сын.

Теперь знакомиться с бабушкой и дедушкой и его родителями было просто необходимо, и они в тот же вечер, утолив свою тоску друг по другу в гостинице, поехали к бабушке. Та встретила сообщение с нескрываемым испугом, заметив, что совсем не понимает нынешних детей, которые могут вот так быстро менять свою жизнь, и что надо посоветоваться с матерью, хотя понимала, что советовать уже поздно. А дедушка с прямой отставного военного спросил об этом и, получив подтверждение, утвердительно произнёс: «Ну вот, мать, я говорил...» И окинул строгим взглядом не прячущего глаза Русика, который тут же сообщил, что завтра он увезёт её к своим родителям и те будут рады выбору своего сына.

И он действительно повёз её в свой город, где в большом доме уже собрались ближайшие родственники, включая бабушек и дедушек, оценивать будущую невестку. Дедушки и особенно бабушки в платках и длинных платьях были строги. Она пугалась их взглядов и всё норовила спрятаться за Русика, который заявил, что выбор свой сделал, невеста была, как и должно быть, чиста, никому до него не принадлежала, что у него будет сын, которого он воспитает, как и положено, настоящим горцем.

«Ей надо принять нашу веру», — сказал самый старший дедушка, которому невеста внука, похоже, понравилась, в отличие от свекрови.

Матери Русика она не понравилась, это она поняла с первого взгляда. И вспомнила, что Русик говорил ей, что его хотят женить на дочери подруги его матери.

Отец Русика, полный и чем-то озабоченный, то и дело отходящий в сторону, чтобы поговорить по телефону, сказал, что выбору сына препятствовать не станет, но невестка будет жить у них, и свадьбу они сыграют как положено по обычаю, а научить, как должна себя вести женщина в их семье, — это забота матери и родственников.

«В институте учится — и нашу науку выучит», — завершил он свой монолог.

«Плохо сынок, что не привёз ты её девушкой, — строго произнесла мать. — Что соседи скажут».

«Я единственный у неё, пусть меня спросят», — ответил тот.

«Но до свадьбы жить вы будете в разных домах», — сказал старший дедушка и закрепил слова ударом крепкой ещё руки по столу.

...Свадьбу сыграли скоро и многолюдно, нельзя было обидеть никого из родственников Русика. Её же мать и бабушка с дедушкой на свадьбу приехать не смогли: бабушка приболела, а мать сказала, что не хочет выглядеть бедной родственницей. Она вообще плохо отнеслась к этой новости. Приехала только сестра, и она помогла ей справиться с паническим настроением. И только сестре она призналась, что да, Русик ей нравится и им вместе хорошо, но она не знает, как будет жить с его родными, которые настаивают, чтобы она бросила институт и посвятила себя исключительно заботе об их сыне и будущем внуке.

...Они с Русиком стали жить в отдельном доме, уже выстроеном специально для него рядом с отцовским, но свекровь и родственницы каждый день приходили к ней, когда Русик уезжал по делам, и учили, что и как должна делать жена горца. Многое из своих новых обязанностей жены ей нравилось, но многое она не принимала. Когда делилась этим с Русиком, тот в ответ смеялся над патриархальностью и отсталостью родителей, не понимающих, что времена изменились и нравы тоже, но всё же советовал ей не спорить, а стараться делать как ей советуют, к тому же длинные платья и красивые платки ей очень даже к лицу.

И всё-таки она не смогла смягчить сердце свекрови, не смогла понравиться родственницам, ей становилось всё неудобнее и неудобнее в новом большом доме. Она начала понимать, что для того, чтобы угодить всем, должна быть совершенно другой. Но быть другой ей совсем не хотелось. Она тосковала по институту, по подружкам, по бабушке с дедушкой, по улицам своего города. И однажды она попросила Русика отвезти её обратно. Тот всплыл, сказал, что она его не любит и всё это время прикидывалась, потому что если бы любила, откинула бы свою гордость, избавилась от плохих привычек, которые присущи большинству городских девушек даже его национальности, и поняла бы, что она живёт для него, для сына и детей, которых будет ему рожать...

«А институт? А моя профессия?» — не выдержала она.

«Твоя профессия — женщина! Жена и мать!» — сказал он.

И уехал на ночь глядя, хотя собирался ехать только утром.

А на следующий день, переодевшись в свою прежнюю одежду — джинсы и мужскую рубашку (она любила мужские рубашки), она тайком уехала домой.

...Бабушка поплакала вместе с ней и, поглаживая её по голове, как всегда это делала в такие минуты, сказала, что ничего страшного, если так всё сложилось, они с дедом ещё в силах прокормить и правнука или правнучку, кто будет...

Русик приехал, только когда она родила. Привёз денег и, узнав, что она родила дочку, не скрыл огорчения.

«Если бы сын, я бы смог что-то изменить», — сказал он.

Но по его глазам — в них не было прежнего обожания — она поняла, что менять он ничего уже не хочет.

«Но я буду помогать», — добавил он, подтверждая эти её мысли.

«Тебе же надо жениться на дочери подруги твоей матери. Я согласна на развод», — поспешила она.

Он молча вздохнул и, оставив большой букет роз приниравшему роды врачу, уехал.

...Они развелись, когда дочери исполнилось полгода. Он обещал помогать ей, предложил даже жить совместно, когда он будет приезжать в город по делам, но она отвергла это предложение: ей не хотелось, чтобы в их отношениях появилась грязь неправды. Она искренне хотела, чтобы он был счастлив, была счастлива его будущая жена, которую она видела на своей свадьбе, его мать, родственницы, старый дедушка-акасал, которому не надо будет обращать невесту внука в свою веру.

И надеялась, что тоже будет счастлива.

Она ведь — барышня избалованная.

И не любит быть слишком пессимистичной...

Заглянуть в завтра

— Щекотливая тема... Я бы на твоём месте выбрал что-нибудь другое.

Гульковский в своём амплуа: дует на воду, обжёгшись на молоке. Но его можно понять, старичок так и остался навсегда в прошлом. Всё так же боится не угодить власти, не угадать тенденций... Хотя в чём-то он прав: не дай Бог дожить до дня, когда твой труд, но не подтверждённый реальностью, утратит провидческую научность. А у старика опыт, на его глазах столько было развенчано кандидатов, и докторов, и даже академиков научного коммунизма, диалектического материализма, истории партии. Нет, пожалуй, насчёт истории — перебор. История — факт непреложный.

— Я, Станислав, тебе как старший товарищ и как учёный рекомендую не братья за то, что имеет связь с будущим. Судьба пророков, как ложных, так и истинных, всегда драматична.

— Скорее всё же истинных, чем ложных. Истина нага, её видно сразу, а ложь умеет рядиться и мимикрировать.

Сказал так умно, что самому понравилось. Но старика не прошибёшь. Он в своих мыслях — как в предохранительной капсуле с односторонней связью: его слышно, а ему нет.

— Видишь ли, если бы мы в юности понимали, что в конце жизни нам не хватит каких-нибудь

мгновений для прозрения, для постижения смысла бытия, мы не тратили бы его на пустое времяпрепровождение и на суету.

Он не совсем понял, что старик имел в виду под суетой: каждодневное бытие или обивание порогов в погоне за степенями, званиями и наградами. Ждал, чем тот закончит, но Гульковский замолчал и погрузился в себя. А проще говоря — отключился, со стариком последнее время это случалось: говорит-говорит — и вдруг замирает то ли пугая собеседника неожиданным переходом в мир иной, то ли погружаясь в ведомые только ему иные сферы существования. Синицкий тоже прежде пугался и затахал, прислушиваясь, дышит ли... теперь привык к этим сонным паузам. Что поделает, старик у восьмидесяти, устаёт.

— Русский человек обладает удивительной склонностью перенимать, — бодрым голосом, словно и не было этой паузы, продолжил Гульковский. — Этакое независтливое перенимание всего, что внове, что есть у других.

К чему бы это, подумал Сينيцкий, речь ведь шла совсем о другом.

— Помню, в юности меня заинтересовала психология отношения наших и французов во время войны восьмьют двенадцатого года. Парадокс, но наше общество не считало французов врагами. Я имею в виду, естественно, дворян, офицеров; крестьяне видели в них именно врагов и не щадили, — он помолчал, словно что-то вспоминая. — Очень мне хотелось понять причину этого милосердия к врагу. Я так и сформулировал тему: милосердие к врагу как национальная черта. И даже сейчас помню, от чего хотел оттолкнуться, — он поднял на Синецкого глаза, спрятавшиеся под седыми кустистыми бровями. — «Тело моё родилось в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской». Знаете, откуда это?

— Нет, — мотнул головой Синецкий, запоздало осмысливая услышанное, потому что думал совсем о другом.

— Это, мой юный друг, слова одного из персонажей пьесы «Бригадир» Дениса Ивановича Фонвизина. И сформулирован сей постулат задолго до наполеоновского нашествия. И вот что удивительно: французы завоевали Россию без всякого оружия — книгами Дидро, Вольтера, парижской модой, Версалем... Вы знаете, Станислав, перед войной семь книг из десяти в России выходили именно на французском языке. И немало было тех, кто знал этот язык лучше родного, что и подметил Фонвизин. Признаться, я и сегодня не понимаю, зачем Наполеону нужно было завоевывать страну оружием, если стоило приложить ещё немного усилий, добавить гувернанток-француженок, французской моды, французской философии — и мы сами бы сдались... После взятия Бастилии

из Франции к нам переехали почти пятнадцать тысяч французов. Представляете, какой десант, какая пятая колонна, — он замолчал, задумался, лоя ускользающую мысль, и неожиданно признался: — Я вот сейчас подумал: а может быть, Бонапарт как раз и рассчитывал на эту колонну? Как вы считаете?

— Я? — Синицкий растерялся. — Я как-то не думал об этом, — и уже уверенно добавил: — Но это интересная мысль.

— Он ведь не был готов к долгой войне, он не собирался долго кормить и одевать армию... Но мы отвлеклись, я всё же хотел сказать не об этом. Я размышлял о заимствованиях. О том, что русский язык тогда весьма обогатился французскими словечками, новыми смыслами. А знаете, в ходе военных действий офицерам было даже запрещено говорить по-французски. Русские крестьяне могли принять их за французов и поднять на вилы.

Старик совсем оживился, даже щёки утратили привычную бледность. Тут хочешь не хочешь, а будешь слушать. К тому же то, о чём он говорил, Синицкий не знал, и ему действительно было интересно.

— Взаимоотношения народов — тема библейская. Вечная. Краугольная, — старик прищурился. — Со времён строительства Вавилонской башни. А между родственными народами отношения к тому же не поддаются голому рассудку. Тут полно эмоций. Элементарных человеческих чувств. Зависти, обиды, гордыни. Так что, мой друг, вы можете поддаться этим эмоциям и согрешить против истины, — Гульковский задумался. — Впрочем, объективной истины не существует. Все мы живём в субъективных мирах, и у каждого истина своя. Но кое-кому выпадает признание его истины объективной. Так что — дерзайте.

Он неторопливо, экономя движения, поднялся со скамейки, на которой они сидели. Рукой с выпирающими венами перехватил поудобнее трость.

— Вы уж извините, мой друг, пора мне отдохнуть.

И, не ожидая слов прощания, медленно пошёл по аллее к выходу из парка. И вдруг остановился, обернулся.

— Да, мой юный друг, думаю, вам будет интересно это знать: вместе с Наполеоном в Россию пришли почти сто тысяч наших с вами предков. Братья нередко бьются до крови... Кстати, прародителем того же Фонвизина был немецкий барон, взятый в плен. Возможно, и наши прародители из пленных улан.

«Пожалуй, он прав, — подумал Синицкий, — среди родственников всегда так всё напутано. А уж между некоторыми родственными народами — вековечное соперничество...»

Как-то у них был разговор по поводу своих предков: фамилии схожие, польские. Да и по-дилось же они оба в Смоленске, который входил и в княжество Литовское, и в Речь Посполитую.

После того разговора он пытался найти свои корни. Но что найдёшь после стольких войн, когда всё дотла выжигалось? Он даже про своих дедов ничего не нашёл. Пока те живы были — не догадался расспросить, а когда созрел для понимания жизненной важности знаний о прошлом — не у кого было спрашивать. А в архивах руками развели: утрачены все документы во время последней войны, если и не сгорели, то где-то утеряны безвозвратно. Вот и остался он без фундаментальной опоры, словно не продолжает начатое предками, а новое начинает.

Надо будет посмотреть в интернете, может, кто из Синицких отметился в каких-нибудь записках о той давней войне...

Его руководитель Бельский (может, тоже с польской кровью) не намного старше, но уже доктор наук. Приверженец демократии как оптимальной низшей формы государственности. Высшей он считает единоначалие. Но не монархию, а универсальное управление из единого центра и глобализацию как экономическую скрепу всего человечества и панацею от войн. Собственно, кандидатская Синицкого — это развитие одного из положений теории Бельского о неизбежности глобального слияния цивилизационных потоков в единый. Он убеждён, что не за горами тот день, когда экономика создаст единый универсальный язык, и история человечества обретёт новую культуру, в которой индивидуальное, самобытное перестанет воссоздаваться, а общечеловеческое, общепонятное станет единым, и культура перестанет быть разномастной и зачастую ненужной надстройкой. Правда, уровень культуры придётся опускать искусственно в тех уголках мира, где он сегодня неоправданно высок и не востребован большинством, и поднимать там, где низок, для гармоничного функционирования индивидуумов.

— Но если мы будем равняться на племена Амазонки, то не слишком ли низок он будет? И так уже в моде татуировки. Вот только гольми ходить климат не везде позволяет, — высказал свои опасения Синицкий.

— Твою иронию понимаю, — поглаживая клинышек начавшей расти рыжей бородки, произнёс Бельский. — Но опасений не разделяю. В универсальную культуру войдут только массивные традиции. Племенные или групповые пристрастия слишком мелки, чтобы как-либо влиять даже на подобные им образования. А что касается татуировок, то они действительно свидетельствуют о примитивном уровне культуры, но, возможно, на этом, приемлемом большинством, уровне мы сейчас и находимся. И, между прочим, это может

стать предметом для исследований, войти отдельной главой в твою диссертацию...

Бельскому нравится тема диссертации Синицкого. Он говорит, что в ней заложено предвидение будущего. В этом будущем индивидуализм приобретёт форму полной независимости от условностей морали и будет подчиняться исключительно прагматичной реальности. Каждый человек будет несравнимо сильнее ныне живущих, даже самых продвинутых. Не телом, конечно, а умственным потенциалом, знаниями, умением. Но в то же время будет находиться в гармонии с установленным общеземным порядком. Государств не будет, и одного как такового всемирного государства тоже не будет. А вот что будет, это они ещё не придумали. Доселе история человечества жидилась на коллективизме, на сложении усилий многих для решения непосильных для одного задач. Пример тому — войны. Один в поле действительно не воин. Хотя и есть в прошлом примеры, когда богатыри выходили сражаться один на один. Как Пересвет и Челубей на Куликовом поле. Но это всего лишь литературные персонажи, никто не знает, было ли так на самом деле...

И что не понравилось Гульковскому?

Ничего щекотливого в теме диссертации, просто старик мыслит прошлыми стереотипами. Старость прозябает на воспоминаниях. На пережитых эмоциях и опыте. Когда-нибудь и он будет стареньким, тогда тоже будет стоять на отжившем. А придут новые, молодые. Дерзкие...

А почему отжившем?.. Нет! Так даже думать нельзя. Именно это Гульковский и имел в виду: почиваешь на лаврах, и вдруг приходит некто и свергает...

Надо ответить, давно уже кто-то настойчиво стучит в смартфон.

— Слушаю.

— Почему так долго не отвечаешь?

— Задумался. Вернее, не слышал, по улице иду. Шумно.

— Я уже хотела отключиться. Ты когда сегодня будешь?

— А что?

— Давно тебя не видела.

— Мы же только утром... — начал и запнулся.

Мужская и женская логики — это полярности. У них и время по-другому идёт, и Земля крутится по желанию.

— Хорошо, моя родная. Сразу же после вечернего удара курантов...

— Стас, мы сегодня едем к маме.

Вот так. Без прелюдий, и не «сможем ли мы?» или «хочешь ли ты?», а «едем!». Но с точки зрения будущего устройства общества это и есть отношения общепринятого порядка и индивидуальности, которая вынуждена подчиняться, оставаясь зависимо-свободной...

Нет, что-то в этой формулировке не так. Надо будет подумать.

— Вообщето я... — попытался проявить индивидуальную мощь.

— Не задерживайся.

Надо было подготовить основание отказа. Тем более что подобное можно было предположить ещё вчера, по разговору за ужином.

— Хорошо, постараюсь.

— Я жду.

Вот она — категоричность порядка.

Вообще-то с тёщей у Синицкого отношения самые благостные. Он старается ей реже попадаться на глаза, она при нём о нём дипломатично молчит. Но хотя бы раз в месяц требует на закляние к себе в гости. Когда был жив тесть, эти посиделки особо не напрягали. Они с тестем могли выйти на балкон и поговорить о своём, мужском; теперь же сидеть между двумя женщинами, неустанно говорящими о том, что ему непонятно и неинтересно, было мукой. Прежде он пытался следить за канвой разговора и даже вмешиваться. Но скоро понял, что канва не радует новизной или оригинальностью, а вмешательство неуместно и чревато непониманием. Но ведь и не уйдёт, Настя обидится. А обижается она долго, несколько дней не замечая его присутствия в доме и, естественно, не слыша.

Хотя, видит Господь, он бы сегодня вечером с большим интересом и радостью полазил бы по интернету. Разбередил его ностальгию по прошлому Гульковский.

... Действительно, Юзеф Понятовский привёл Бонапарту почти сто тысяч поляков Герцогства Варшавского. Привёл с надеждой восстановить былые границы Речи Посполитой. Нет, психология державного величия не умирает... В победоносном начале кампании даже распротраняли листовку на русских землях, адресованную именно полякам: «Поляки! Вы служите под русскими знамёнами. Эта служба была вам позволена, пока у вас не было отечества. Но теперь всё изменилось. Польша воскресла, и теперь надо сражаться ради её полного восстановления, ради того, чтобы заставить русских признать права, которые были у вас отняты несправедливостью и силой. Генеральная конфедерация Польши и Литвы отзывает всех поляков с русской службы. Польские генералы, офицеры, солдаты! Повинуйтесь голосу отечества: покиньте знамёна ваших притеснителей, спешите все к нам, чтобы стать под знаменем Ягеллонов, Казимиров, Собеских! Об этом просит вас Отечество, повелевает честь и религия!»

Под русскими знамёнами было тоже немало поляков. Четырнадцать генералов, почти треть офицерского состава. Были польские полки улан и гусар.

Но всё же с Бонапартом пришло их больше. И именно полки Понятовского были главной ударной силой в Смоленском сражении.

«Отчего я прежде не интересовался этой темой?» — удивлялся Синицкий, сидя перед компьютером и делая выписки из открывавшихся документов. Находил, читал и всё надеялся наткнуться на свою фамилию. На сообщение о неведомом предке, который, конечно же, воевал на той или иной стороне... И ему отчего-то казалось, что именно в событиях вокруг Смоленска этот предок должен каким-то образом проявиться. Хотя одним упоминанием, сочетанием букв в фамилии. Не мог он там не быть. Другое дело, неизвестно на чьей стороне...

Но вот Матеуш Заремба точно был на той стороне. Его письмо нашли в Смоленске между кирпичами городской стены. «Милый брат! Мы уже под Смоленском. Наполеон думает его взять. Но русские дерутся как львы. Даст Бог — дойдём до Москвы. Вот там заживём! Мюрат мне обещал, что, когда дойдём до Москвы, он сделает меня генералом».

По-видимому, генералом Матеуш так и не стал, но потомки его брата, несомненно, живут сегодня в Польше...

Если верить летописцам, то в прежние времена Смоленск был более неприступным, выдерживая длительные осады. На этот раз сражения в его предместьях длились всего пару дней. Слишком велика была разница в численности наступавших и оборонявшихся. Если, опять же, верить запискам очевидцев, то отваги наступавшим было не занимать. Он нашёл записки русского офицера Фёдора Глинки, уроженца этих мест, который писал: «... поляки в бешеном исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра».

Потом Наполеон отдал приказ жечь город. Начался артиллерийский обстрел. А наутро русские войска оставили сожжённый город, призвав его население к народной войне.

Было начало августа, ещё стояло тепло. Склады полнились запасами продовольствия. В захваченном Смоленске французы оставили гарнизон для сбора продовольствия. Военный комиссар виконт де Пюибюск, оставшийся с сыном в составе гарнизона, в своих письмах жалуется, что «жители при нашем приближении разбегаются и уносят с собою всё, что только могут взять, и скрываются в густых, почти неприступных лесах». А голодных солдат, разбредаящихся в поисках пищи по окрестностям, мужики забивают дубьём. «Голод губит людей. Мёртвые тела складывают в кучу, тут же, подле умирающих, на дворах и в садах; нет ни заступов, ни рук, чтобы зарыть их в землю».

Потом, правда, положение выправляется, а в сентябре в гарнизоне радуются победе под Бородино. Но тут же пришло распоряжение о том, чтобы «отправить из Смоленска в армию всех, кто только в состоянии идти, даже и тех, которые ещё не совсем выздоровели».

В середине октября ударили морозы. Теперь виконт пишет, что «люди гибнут на бивуаках от холода». А в конце октября он сообщает родным: «Сейчас получили мы официальное известие, что Наполеон с армией оставил Москву и отступает к Днепру; однако неизвестно ещё, какую пройдёт он дорогой. Каждый день раненные генералы и офицеры возвращаются в Пруссию, не дожидаясь выздоровления; многие из них без всякого разрешения едут на первый случай из предосторожности в г. Вильну. Меня долг и честь удерживают лишь в г. Смоленске, и я решился ожидать здесь судьбы своей».

Спустя две недели виконт уже паникует:

«Вчера прибыл сюда Наполеон с гвардиею. От ворот Московских до самой квартиры своей, в верхней части города, шёл он пешком. Восток на гору покрыт льдом; а т. к. в городе нет ни железа, ни кузниц, то весьма трудно втаскивать повозки на гору; лошади так измучены, что если которая упадёт, то уже не может встать. Сегодня мороз 16 градусов. Наши солдаты, прибывшие из Москвы, закутаны иные в шубы мужские и женские, иные в салопы или шерстяные и шёлковые материи, головы и ноги обёрнуты платками и тряпками. Лица чёрные, закоптелые; глаза красные, впалые, словом, нет в них и подобия солдат, а более похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. Изнурённые от голода и стужи, они падают на дороге и умирают, и никто из товарищей не протянет им руку помощи».

Из предосторожности, чтобы голодные солдаты не бросились грабить магазины, решено армию оставить за валом вне города, по близости конюшен...»

«Каково было там польским уланам из армии Понятовского?» — мелькнула мысль, в которой вполне можно было распознать и жалость к врагам его русского отечества...

Если исходить из того, что в будущем все нации сольются в единое безнациональное человечество, то отчего бы не посочувствовать побеждённым?

Но вот каков Наполеон, приказавший, как пишет виконт, «распределить провиант так, чтобы гвардия была удовлетворена, а остальных предоставить воле Божией».

А с другой стороны, разве не эта логика заботы не обо всём человечестве, а о малом его количестве, пронизывает труды Бельского, на чём строится и его диссертация?..

Эта мысль, не совсем приятная, противоречащая чему-то усвоенному и принятому как

аксиома — в нём, в его мировоззрении, напомнила о разговоре с Гульковским. Но он не стал углубляться, решил разобраться, как видели происходящее победители, среди которых тоже были поляки.

Вслед за отступающим врагом движется армия русская, в составе которой Фёдор Глинка, адъютант при генерале Милорадовиче. Он тоже, как и виконт, всё замечает, всё фиксирует.

«В каком печальном виде представлялись нам завоеватели России!.. По той дороге, по которой шли они так гордо в Москву и которую сами потом опустошили, они валялись в великом множестве мёртвыми, умирающими или в беднейших рубищах, окровавленные и запачканные в сажу и грязь, ползали, как ничтожные насекомые, по гудам конских и человеческих трупов».

Жалостлив и милосерден Фёдор Глинка.

Именно в таких испытаниях познаётся истинное и обнажается ложное.

А виконт де Пюибюск продолжает записывать то, что видит он.

«Вчерашний день императорская гвардия выступила из города через Виленские ворота по направлению к г. Красному. Теснота была ужасная, самого Наполеона чуть не задавили. Многие раненые убежали из госпиталей и тащились, как могли, до самых городских ворот, умоляя всякого, кто только ехал на лошади, или в санях, или в повозке, взять их с собою; но никто не внимал их воплям; всяк только о своём спасении думал. Через несколько часов я с главным штабом оставлю город; неприятель ожидает нас впереди на дороге».

Возможно, там, под городом Красным, дороги де Пюибюска и Глинка пересеклись, и французский виконт видел то, что видел русский офицер.

«Здесь, во рву, подле большой дороги, среди разбитых фур, изломанных карет и мёртвых тел, кроме шуб, бархатов и парчей, можно купить серебряные деньги мешками!.. Но там, где меряют мешками деньги, нет ни крохи хлеба! Хлеб почитается у нас единственной драгоценностью!.. Один из наших проповедников недавно назвал французов обезчеловечившимся народом; нет ничего справедливее этого изречения. Положим, что голод принуждает их искать пищи в навозных кучах, есть кошек, собак и лошадей; но может ли он принудить пожирать подобных себе? Они, нимало не содрогаясь и с великим хладнокровием, рассуждают о вкусе конского и человеческого мяса!»

Так война развенчивает нацию, доселе являвшуюся примером для подражания...

Фёдор Глинка победно прошёл до Парижа, вернулся домой победителем, прожил долгую жизнь — девяносто четыре года. Что же касается виконта де Пюибюска, то он со своим сыном был взят в плен и самым уважительным образом

представлен сначала генералу Мартынову, потом графу Платову, затем генералу Ермолову и, наконец, фельдмаршалу Кутузову. После чего с удобствами препровождён в Санкт-Петербург. И, вероятно, вернулся домой.

Таково милосердие победителей...

На всякий случай Синицкий сделал себе выписки из найденных документов.

— Стасик, во сколько же ты встал?

Настя прижалась животом к его плечу. Живот был упругий, большой и тёплый. Синицкий в который раз удивился, как из ничего получается что-то. Им уже сказали, что это «что-то» будет девочкой. Сейчас он подумал, что хорошо бы было, если бы врачи ошиблись. Не потому, что хотел мальчика. Девочка даже лучше. Просто хотелось, чтобы была тайна, которая раскрылась бы только с рождением нового человека. Он из рассказов родителей знал, как прежде умели этому радоваться. Вообще, раньше, в их жизни много было того, что приносило радость. Вспоминая свою молодость и ту страну, которой уже не было, они, не забывая о пустых прилавках магазинов и дефиците, почему-то считали более важной ту радость, что получали, доставая этот самый дефицит, а потом собирая за праздничным столом близких людей и радуясь уже общению.

— Я не помню, когда ты лёг. Работал допоздна?

— А что, уже утро?

Он посмотрел в окно. За шторами была всё та же ночь. Но, возможно, уже действительно утро, на дворе — декабрь, самые длинные ночи.

— Так ты совсем не ложишься?

— Днём высплюсь, сегодня у меня творческий день.

— Скорей бы ты закончил свою диссертацию, — вздохнула жена и, наклонившись, касаясь налитой грудью его плеча и пахнув запахом молока, поцеловала его в лоб. Как маленького.

Он заметил: когда жена поняла, что беременна, она стала вести себя не как прежде. Прежде она была избалованной девчонкой, любившей подольше поваляться в постели, не очень озабоченной, чем накормить мужа, и предпочитающей готовке обеды в кафе. Теперь же начала готовить дома. Правда, не так много она умела. Но старалась хоть раз в неделю приготовить какое-нибудь новое блюдо. И всё прислушивалась к себе, подробно рассказывая о своих ощущениях и заставляя его прикладывать ухо к животу, без особой надежды, что он что-либо услышит. Но зато теперь она не капризничала и не заставляла исполнять нелепые желания.

— Что тебе приготовить на завтрак?

— Что и себе, — сказал он, всё ещё глядя на экран, но уже понимая, что на этом сегодня можно поставить точку.

— Будешь омлет?

— Пусть будет оmlет, — согласился он.

— А может, лучше сварить кашу?

— Можно и кашу.

— Нет, лучше оmlет. Это быстрее... А может, ты сам сделаешь? — обернулась она в проёме двери, вся уютно-округлая, в прозрачном пеньюаре, и он невольно залюбовался ею, ловя себя на горделивой мысли, что у него такая красивая и желанная жена.

— А может, вместе ещё поспим? — поймав себя на желании, в тон ей произнёс он, хотя та, которую жена носила в себе, уже явно не желала никакого вмешательства со стороны. — Я тебя поглажу и дочку послушаю.

— Стасенька, у меня творческих дней нет. У меня сегодня первая пара.

— А, ну да. Студенты не ждут...

— ...опоздаешь — упорхнут... — дополнила она.

— Ладно, иди одевайся, я сделаю оmlет.

...»Очевидно, что мой предок в той войне выжил, — думал он, взбивая яйца. — Другое дело, неизвестно, на чьей стороне он воевал». Вот она — загадка его генной цепочки. И попробуй разгадай её, если тебя отделяют ещё две или даже три, если считать Гражданскую, войны. И революция, которая всё сбילה-смешала так, как он сейчас сбивает яйца: уже ни белка, ни желтка, а однородная бледно-жёлтая масса...

Но Гульковский прав: нельзя прогнозировать будущее, не зная прошлого.

— Мы с вами встречаемся в одном и том же месте.

— Так я ведь знаю, что это ваша любимая скамейка и когда вы здесь предаётесь размышлениям, обогашающим нашу науку.

— Вы, молодой человек, умеете так льстить, что трудно разобрать — это лесть или сарказм.

— Только не сарказм. Избави Бог! Вы же знаете, что я действительно считаю ваши работы важными для науки. А многие из них я ссылаюсь в своей диссертации. Ваша методология оценки будущего через призму прошлого — это как фундамент, без которого всё строение рухнет.

— У вас сегодня юношеское настроение, Станислав.

— И всё почему, Иван Васильевич? Всё благодаря вам.

— Интересно, чем же я вам поднял настроение?

Старик заинтересованно повернул голову, сел вполоборота. Достал из кармана пальто большой носовой платок, промокнул им слёзы, выжатые утренним морозцем.

— Позавчера ночью благодаря вам я отправился в прошлое. И узнал много нового для себя.

— Мне казалось, вас интересует исключительно будущее. Вы ещё не перевалили тот самый рубеж, когда прошлое становится настоящим.

Синицкий помедлил, осмысливая этот синтез прошлого и настоящего, который предложил старик, и согласился с ним. Пока теоретически, потому что его настоящее действительно более переплеталось с будущим. А вообще стоит поразмышлять над подобными петлями времени. И над собственным пересечением личной оси Хроноса. Возможно, это пересечение случилось именно сейчас.

— А если это уже произошло?

— Ну что вы. Вам ещё рано, Станислав, какие ваши годы! У вас всё ещё впереди... в вашем общечеловеческом мироустройстве. Вы всё так же продолжаете верить в единый мировой порядок?

— Признаться, после экскурсии в прошлое появились некоторые сомнения.

— Вам следует заглянуть ещё дальше в кажущееся минувшее. Всё, что есть и что будет, уже было. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: „смотри, вот это новое“; но это было уже в веках, бывших прежде нас». И в Книге Книг всё изложено, весь цикл существования человечества от начала до конца. От альфы до омеги... Вы ведь знаете предание о строительстве Вавилонской башни?

— Насколько это может быть известно специалисту. О том, что после потопа оставшиеся в живых правильного вывода не сделали, урок не поняли, гордыни не утратили, отчего и взялись за строительство башни, чтобы добраться до неба. Господь тогда один язык разделил на множество и рассеял строителей по земле.

— Зачем Он это сделал?

— Не хотел, чтобы тайное стало явным. Чтобы человек мог с Ним сравняться.

— Молодой человек, у вас явно атеистическая закуска. Хотя вы ведь уже не были пионером...

— Не был. Но слышан, — Синицкий вспомнил сравнение человечества с муравьями, которое очень нравилось Бельскому. — Но мне кажется, что Господу нет никакого дела до человечества. Как нам нет никакого дела до муравейника, в котором суетятся муравьишки.

— Этим сравнением вы принижаете предназначение человечества.

— Мне бы понять своё собственное предназначение.

— Если вы это поймёте, станете подобны Господу... А знаете, почему Он не позволил построить башню? Потому что это конечность. А конечности не должно быть. Её нет.

Гульковский замолчал. Сидел, съживившись, спрятав маленькое морщинистое лицо в поднятый воротник пальто, и водил перед собой тростью, вырисовывая на грязном истоптанном снегу хаотичные линии.

— Вы знаете, почему не будет единого человеческого общества? Потому что всё в этом мире

подчиняется закону единства и борьбы противоположностей. Мир, созданный Богом, или, если хочешь, единым мировым законом, изначально полярен во всём. В нём было, есть и будет всегда две противоположности, два полюса. На одном будет концентрироваться доброе, на другом злое. Исключительно доброе или исключительно злое — это конечность, которой в бесконечном мироздании быть не может...

— Но вы ведь конечны. И я тоже. Как все люди, — не совсем уверенно произнёс Синицкий, понимая, что сейчас уподобляется школьнику, надеющемуся к своим скудным познаниям добавить нечто очень важное.

— Я говорю, вы заражены атеизмом. А атеизм — это не наука. Это отрицание истинной науки.

— А как же монография Бельского с его обоснованием однополярности, признанная теорией?

— А признанный Кампанелла с его Городом Солнца?.. Это утопии, мой молодой друг, это не наука.

— Вы меня смутили, Иван Васильевич.

— Смущаться — привилегия молодости. И творческого поиска... Холодно. Мне пора в тепло, кровь уже не греет.

Старик поднялся. Опираясь на трость, постоял, словно привыкая к тверди под ногами и никак не решаясь сделать первый шаг. И неожиданно произнёс:

— А многополярность — это всего лишь дробление единой полярности. Рано или поздно она начинает вновь складываться и снова дробиться. Но это не закон. Это циклы. Так что Бельский открытия не сделал, а с учётом нынешних скоростей боюсь, что на лаврах почивать ему долго не придётся.

Бельский — олицетворение успешности. Ему немногим более сорока, но он уже доктор наук и признанный авторитет. Выглядит он молодо. Одевается современно: неброско, но модно. Демократичен. Хотя ни к какому политическому течению себя не относит, утверждая, что в эту графу в анкетах всегда вписывал бы только одну партию — партию науки.

У Бельского такая же успешная и профессионально востребованная жена. Она работает в финансовой структуре и умеет из ничего делать деньги. Это по утверждению Бельского, который о своей жене почему-то всегда говорит с улыбкой. Живут они вдвоём в загородном доме жены. Детей у них нет. Но и союз они образовали всего лишь пару лет назад. До этого Бельский поменял несколько влюблённых в него студентов, но ни с одной не ужился.

У Синицкого отношения со своим шефом самые дружеские. Но не панибратские. Бельский любит иногда пооткровенничать. Может быть, и не до конца. Не обо всём. Но Синицкий знает,

что настоящая любовь у него осталась далеко в прошлом, когда он был студентом. И она тоже. Но если бы он тогда женился, то вся учёба пошла бы насмарку. А следом и аспирантура, и всё остальное, что у него есть сегодня. Если откровенно, тогда он любовь ставил ниже, чем карьеру и успех. Впрочем, и сегодня он не уверен, что поменял бы на любовь то, что имеет.

С нынешней женой у Бельского деловой союз, без всяких романтических фантазий и заскоков. Совместное проживание под одной крышей. И им обоим ещё рано заводить детей. А может, и не стоит вовсе. Во всяком случае, пока они потребности в детском плаче не ощущают.

Свой разговор с Гульковским Синицкий передал шефу. И выразил свои сомнения по поводу выбранной для диссертации темы.

— Да, старик совсем отстал, — вздохнул Бельский. — А ведь был когда-то в авангарде, я с него брал пример. Вот, Станислав, что с людьми делает возраст. Я решил, что когда почувствую себя ретроградом, запрусь в своей домашней келье и не буду никого смущать своими сомнениями.

— А если он всё же прав? — настаивал Синицкий.

— Он не прав, — твёрдо сказал Бельский. — Он человек не только уходящей эпохи, но и ушедшего уклада. Говоря сегодняшним языком — у него устаревшая программа с малым объёмом оперативной памяти. Он всё ещё живёт библейско-коммунистическими постулатами. А мы, всё вокруг — стало другим. Он идёт в другую сторону.

— Что значит в другую?.. Мы все идём в одну. Человечество развивается по восходящей спирали, ценности у нас одни и те же.

— Ценности, может быть, и те же, — неуверенно произнёс Бельский, — но отношение к ним другое. Ну как бы тебе... Впрочем, ты и сам не дурак, видишь, что на нашей планете сегодня живёт слишком много людей. Ты где-нибудь видел гигантский муравейник? Высотой хотя бы с дом?

Синицкий покачал головой.

— Таких муравейников в принципе не может быть. Потому что муравейник имеет размеры сообразно форме и численности муравьёв. Так вот, наша планета — это тоже своеобразный муравейник, как заметил один из философов недалёкого прошлого — человек, и она имеет свою человеческую ёмкость. И в муравейнике нет бездельников, там трудятся все, и у каждого своя функция, своя задача. Вот это и есть гармония. Мы, человеки, сегодня осознали, что гармония — это оптимальное соотношение численности населения и размеров земной поверхности. И начинаем создавать гармоничный мир.

— Теория золотого миллиарда... Признаться, я не верю в глобальный заговор неведомо кого.

— Ну, во-первых, не заговор, а деяние. А во-вторых, почему неведомо кого? Даже Генеральный

секретарь ООН в одном из своих докладов отметил, что всего лишь двадцати шести кланам принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты. Естественно, эти двадцать шесть несут глобальную ответственность. Есть ещё такая статистика: один процент населения земли имеет столько же собственности, сколько остальные девяносто девять процентов. Надеюсь, ты не будешь спорить, что тот, кто больше имеет, — больше и радуется. Один процент — это чуть больше семидесяти миллионов человек, вот они и создают будущее.

— Строят новую Вавилонскую башню?

— При чём здесь эти притчи? — поморщился Бельский. — Я всё это тебе говорю, чтобы ты чётко понимал, на кого мы работаем, кому нужна наука. И исходил из запросов заказчика.

— А я считал, что наука — это провидица всего человечества.

— Это банально. Если не глупо. Ты уж не обижайся, — посмотрев куда-то выше головы Силицкого, не без пафоса произнёс: — Наука — это служанка доминирующей социальной группы.

— То есть мы всего-навсего услуга богачей?

— При чём здесь богачей?! Это эмоции, недостойные учёного. И даже вредные. Мы прокладываем рельсы в будущее, но не для всего человечества, а для деятельной его части. Что тебя не устраивает в этой формуле?

— Пока не знаю. Но что-то не нравится.

— Выбрось все эти мысли из головы. Тему мы взяли самую выигрышную. Работай.

— Стасик, приезжай быстрее!

Голос у Насти взволнованный. И ни слова в объяснение, почему он должен бросать всё и лететь к ней. Хотел ещё пару часов покопаться в трудах великих предеч, утвердиться в выбранной теме. Бросил всё-таки Гульковский зерно сомнения. Но и за Бельским правда. Вот они — две правды, и он между. За ним выбор...

Раньше Настя позволяла себе такие капризы. А когда он прилетал сломя голову, открыв дверь, обиженно произносила: «Скучно мне», — и делала рожицу избалованной старшеклассницы, отчего весь его праведный гнев вмиг испарялся.

Набрал номер. Долго ждал, но жена не отвечала. Может, отключила звук, за ней это водилось — пребывать в недоступности. А может, действительно что случилось? Всё-таки беременная...

Заложил закладки в недочитанные книги, черкнул план первоочередных дел на завтра и поехал домой.

Взлетел на пятый этаж так, что, стоя у двери, никак не мог отдышаться, и когда Настя открыла, жива-здоровая, долго не мог ничего сказать. Только глотал воздух.

— Она пинается...

Жена капризно сложила губки, ожидая если ни поощрения, то заинтересованности, и он, наконец, смог произнести:

— С тобой всё в порядке?

— Она пинается, пощупай, — жена взяла его руку. — Фу, холодная. Иди погрей горячей водой.

— Могла сказать по телефону. Я нёсся как угорелый...

— Вам не понять беременных женщин.

— Нам просто женщин не понять.

— Вот опять, — Настя положила свои руки на живот, словно оценивая размер. — Погрел?

— Да.

— Давай руку... Положи сюда.

Она своей рукой обхватила его ладонь, прижала к горячему животу, и он действительно ощутил мягкие толчки, словно там что-то укладывалось поудобнее.

«Надо же, — подумал, удивляясь, — где-то там, в чреве, что-то живёт... Жизнь зарождается в жизни...» Действительно, ему этого не понять.

И вдруг вспомнил о том, что планета уже перенаселена, и чтобы вернуться к той самой разумной численности народонаселения, первым делом запретят рожать. И те, кто будет жить завтра и послезавтра, так и не узнают, что такое быть матерью и отцом.

— Тебе нравится наша девочка? — шёпотом спросила Настя.

— Ну, в общем... — он замялся, помедлил и твёрдо произнёс: — Нравится.

Подержал ещё ладонь на животе, хотя никто уже не толкался.

— Всё. Утихомирилась. Ты ей понравился. Давай будем ужинать.

Настя развернулась и пошла на кухню.

Глядя ей вслед, он вдруг осознал, что теперь их уже не двое. Их уже трое. И тот третий, пока ещё материально осязаемый вот только так, на ощупь, совсем скоро многое переменит в их маленьком мире. Сначала в их маленьком, а потом и в большем. Вместе с теми, кто ещё не пришёл в него. Но придёт. Должен прийти.

— Ты знаешь, я, наверное, сменю тему диссертации, — неожиданно для самого себя сказал он.

— Почему? Бельский предложил?

— Нет. Не он... Ты вот скажи: какое будущее ты хотела бы для нашей дочери?

— Странный вопрос, — удивилась она. — Кто же хочет своим детям плохого будущего? Только хорошее.

— Это понятно. Что бы ты выбрала: однополярный мир, в котором нет вражды, насилия, войн, или тот, который есть сейчас, — с противостоянием, враждой, насилием?..

— Конечно, первый.

— Но в том первом мире будет жить не более миллиарда.

— А остальные шесть?

— Они должны покинуть этот мир.

— А наши с тобой дети будут в этом миллиарде?

Синицкий помедлил. Вспомнил приведённые Бельским цифры.

— Не уверен.

— Тогда зачем спрашиваешь? Я за то будущее, в котором будут жить наши с тобой дети, внуки и правнуки... Садись ужинать. Мы с дочкой проголодались.

...Ночью ему приснился виконт Пюибюск. Он стоял посреди белоснежного поля в короткой

женской, явно маленькой для него, шубке и смотрел в ту сторону, где поле соединялось с белёсым небом. «Время настоящего беременно будущим, — говорил он. — Но мало кому дано распознать это... Мало кому — и все остальные просто обманывают себя...»

«Не все, — хотел возразить Синицкий. — Я не обманываю. Я действительно хочу увидеть будущее».

Но виконт его не слышал, он стал сливаться с полем и уходить, уплывать к горизонту...

Синицкий проснулся с уверенностью в том, что он знает, что делать.